

"Мелочи жизни"

Детки-очепятки

Написать бы роман из ошибок. Или хотя бы повесть. И не совсем из ошибок, а из опечаток — очепятков. Я люблю набирать тексты, свои или чужие. Нравится мне эта машинка — компьютер. Ты ей мысли — она тебе взамен буквы-козявочки на экране высвечивает. Правда, бывает, вмешивается в ход повествования и пытается исправлять тебя: красными и зелеными ленточками под словами интеллигентно намекает, что ошибочка здесь вышла. А это и не ошибочки вовсе, а, можно сказать, дети любви. Хотя не все это понимают.

Вот была у нас одна, Ирочкой звалась. А еще звалась секретарем с приставкой "референт", хотя точнее было бы "машинистка". Тексты разные набирала. Высококоньякая такая, и вся равномерная, как градусник-термометр — ни бугорка, ни впадинки. Отличалась тихим нравом и громким голосом. Ну, что поделывать, не любила по телефону говорить — предпочитала всех подзывать к себе звонким криком. Ничего, даже в дальних комнатах слышали, кого зовет. Откликались. Так вот, она компьютер, как и телефон, не слишком жаловала. По клавиатуре колотила так, что искры сыпались — и у нее, и у аппарата беспомощного. Ну, и выдавал он ей соответствующий текст.

А я вот так не могу. Нет, я люблю руками мягко пробежаться по клавиатуре, оглаживая каждую клавишу. Подушечки пальцев знают все щербинки-выемки. Начинаешь печатать и чувствуешь, как руки сами по себе уже по клавиатуре бегут, и боишься вмешаться в это слияние. Соприкасаются, вздыхают, охают, щелкают, причмокивают — страсти нешуточные разгораются. И когда эти чувства неземные выходят из-под контроля моего, тогда и рождаются детки-очепятки.

Есть у меня любимчики, так и норовят при каждом удобном и не очень случае выскользнуть на экран. Самый многообразный первенец — это *кончено* вместо *конечно*. И есть в этом какая-то мудрость. Слова однокоренные — и то, и другое свидетельствует, что подошли мы к концу. Но если "конечно" — вялое, размытое, появившееся в результате долгих философствований или чего там еще, то "кончено" — бодрое, резкое и... окончательное. Не поспоришь.

Вторая детка из другой оперы. Как ни стараюсь, а слово "ответствен-

ность" с первого раза никогда правильно набрать не удастся. Обычно получается *ответственность*. Тоже ведь неспроста выскальзывает. Потому как "ответственность" получается какая-то пришептывающая-присвистывающая, убогая и скособоченная, вроде и не ответственность вообще. А с калеки и спрос какой?

Недавно новое слово вытворилось: *блаженство*. Понравилось мне очень. Это же надо — не просто блаженство, а, можно сказать, балдеющее блаженство! Или вот вместо обычного временного-назидательного "пока" получилось вдруг "опка" — залихватское, хулиганское и, по моему мнению, жизнеутверждающее.

Все чаще и чаще выпрыгивают из-под рук моих на экран детки-очепятки. Кто-то скажет — усталость. А я так думаю — знак свыше. Вот написать бы роман из ошибок. Или хотя бы повесть. А еще лучше — письмо любимому. Чтобы видел, как от любви к нему путаются у меня мысли, а вместе с ними слова и буквы.

Но потом решила — зачем?.. Поймет ли? В общем, одумалась... Вернее, *омудалась*. Потому как процесс обдумывания почему-то всегда превращается в *обмудывание*.

А я не хочу жить обдуманно. Хочу жить-поживать. И рожать. Пусть для начала деток-очепятков.

Драгоценности

Я не люблю украшения. Никогда их не покупаю. Ношу только то, что мне подарили. Украшение подаренное перестает быть бесполезным предметом. Это не манок для особой противоположного пола и не знак отличия среди мне подобных. Замечательно, что все мои украшения получены от женщин. Маленькое незаметное колечко подарила мне подруга. Увидев его, я сразу поняла, что это — на все 3 грамма золота, которое оно весит, — абсолютно, безоговорочно мое кольцо. Я ношу его, не снимая, и мне иногда кажется, что окольцованный палец стал тоньше в основании. Любимые серьги подарила сестра. Я так к ним привыкла, что уже не ощущаю и периодически пристрагиваюсь к ушам, чтобы убедиться в наличии тонких золотых колечек. Есть еще подвеска — крошечный слоник и почти невидимая нитка цепочки. Это тоже дары моих подружек. Искренние. Ненавязчивые. Не отягощающие.

Мужчины украшений мне не преподносили. К счастью. Не хочу носить на себе воспоминания о боли. Достаточно того, что они внутри. Мужчины мне дарили совсем иные сокровища. Я называю их своими драго-

ценностями. У них нет материального воплощения, и тем весомее они для меня, потому что каждая из этих драгоценностей — часть меня.

Один говорил, что я всегда танцую. Иду — танцую, сижу — танцую, говорю — танцую. Все подчиняется какому-то ритму и мелодии, которую слышу только я. Все мои движения — часть танца. По его мнению, это был вальс.

Другой как-то сказал, что у меня улыбка Гагарина. И пояснил: Гагарин стал первым космонавтом не за свои выдающиеся успехи, а за особую, удивительно харизматичную и обаятельную улыбку. Так вот у меня такая же, с теми же запятыми в уголках рта.

Третий готов был слушать меня часами. Мой голос, негромкий, медленный, со сдержанными интонациями, расслаблял и убаюкивал его. Он говорил, что физически ощущает тепло, когда слушает меня.

Четвертый чувствовал меня на расстоянии, а, вернее, флюиды, которые от меня исходят. Объяснить, что это значит, он не мог. Просто ощущал мое появление еще до моей визуализации.

Последняя, самая дорогая мне драгоценность, беззвучна. Это легкое движение руки, убирающей волосы с моего лба.



Третье кругосветное

— Не будете ли вы так любезны, Юрий Моисеевич, — бархатно произнес епископ, — не подвезете ли вы нашего гостя. Он здесь недалеко живет, на Вестсайде. Да вы знаете его, это Викентий Вениаминович. Большой друг нашей Академии и милый человек. Он воевал поручиком еще в Первую мировую и на гражданской побывал. Кстати, вам как историку будет интересно с ним пообщаться, — закончив монолог, епископ выжидательно глянул Юре в глаза.

Владыка, так следовало называть его, был выше среднего роста, с удлиненным костистым лицом, слегка горбонос и носил окладистую с обильной сединой бороду. Одну руку он держал в кармане сиреневого шелка ряссы, а второй поглаживал изумительный, с грецкий орех величиной, аметист, бывший подвеской к прекрасной работы кресту, висевшему на шее владыки.

Юра уже было собрался согласиться, но решил выдержать паузу, как бы припоминая дела, ожидавшие его. По опыту он уже знал, что одолжения легко превращаются в обязанности, а посему надо дать спрашивающему почувствовать некоторую неловкость, а может быть даже и вину за свою просьбу. Хотя для владыки это чувство вряд ли имело место быть, а может, он его умело скрывал. По висевшим в его кабинете фотографиям этого сказать было нельзя. На них он был запечатлен со всеми политическими знаменитостями США послевоенного времени. Фигура он, епископ, был загадочная. Вот с ним бы потолковать о делах минувших, но... не приставать же к начальству с вопросами о его, начальстве, непростом, мягко говоря, прошлом.

— Конечно, конечно, отец... э-э-э, простите, владыка, — оговорился Юра, т. к. епископом Арсений стал недавно, уже после прихода Юры в Академию. А до того был он архимандритом, по чину примерно штандартенфюрер. По слухам, кстати, вроде и был таковым, ну да слухи в Нью-Йорке вещь не самая надежная.

Епископ слегка повел бровью, но ласково улыбнулся и протянул руку ладонью вертикально. Тут был нюанс. Дело в том, что большинство сотрудников в случае с протягиванием руки наклоняли голову и выражали почтительное прикосновение губами к тыльной стороне владыкиной ладони. Первый раз в подобной ситуации Юра вывернул свою ладонь и ухитрился пожать руку епископу, приведя его в некоторое недоумение.